Александр Петрушкин

100 стихотворений

Александр Петрушкин
100 стихотворений

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27350131
ISBN 9785448594397

Аннотация

В книгу включены избранные стихотворения уральского поэта Александра Петрушкина, которые, по признанию автора, и составляют основное написанное им, те тексты, за которые автору не стало стыдно по истечении некоторого времени с момента их написания. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

«Ты голод и жажду, как хлеб, соберёшь…» 6
«В животах у леса живёт гнездо…» 7
[Игра в снежки] 8
«На столе бутылка птицы…» 9
«Как молния впадает в воздух…» 11
«Начнём с того, что глаза нет …» 13
«Где дирижёр идёт по тьме…» 14
«Тепла погода. Не в последний раз…» 16
«Пропажа, что с тобой случилась…» 17
«Он, смотрящий в тебя, раздувая вокруг…» 18
«Прозрачная звезда спит на булавке смысла…» 20
«Возвышенность рыбы, взошедшей на землю, глаголет…» 21
«То девять звёзд внутри собора…» 22
«Что кончилось – то лодочка, Господь…» 24
«Яблоня, как дождь, стоит в саду …» 25
«И каждый психом был и каждый пал…» 26
«Слух – эхо от дождя, его сетей…» 27
«Колокол висит над головой…» 28
«…лев живёт в пустыне…» 29
«Так снег здесь переходит небо…» 30
«Вот – родина вторая, что с начала…» 31
«То отражение, что держишь ты…» 33

«Сдиравший землю самолёт…» 35
«Воздухоплаватель заходит в кабинет…» 36
«В чём разница, осколок, мне скажи…» 37
«Ибо каждый из нас здесь и жертвенник, и Авраам…» 38
«Выходишь из ворот, а там – зима…» 39
«Во мне по утрам живёт орфеева голова…» 41
Конец ознакомительного фрагмента. 43

100 стихотворений

Александр Петрушкин

© Александр Петрушкин, 2019

ISBN 978-5-4485-9439-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Ты голод и жажду, как хлеб, соберёшь…»

Ты голод и жажду, как хлеб, соберёшь
и слепишь себе голубиный
язык непонятный вот этим, другим,
идущим за нитью, а выйми

рык львиный из белой и длинной зимы,
которая катит клубок свой —
как след от собаки и впалых саней,
что лёгок, а значит глубоко

лежит в тени нити невидимой и
в ожога распаренном чреве,
а то, что мы живы – не наша вина,
а просто – опять пролетели

над нами собаки и сани, и – скрип
их в небе расслышав – ты жаждой
наешься, как хлебом, нелеп твой язык
распухший – поэтому страшен.

«В животах у леса живёт гнездо…»

В животах у леса живёт гнездо,
из себя исторгая птиц —
ну а птахи несут огонь на плечах,
как попытку гнездо избыть,

выбирают из зренья его себя
по зерну – как тупик – по бревну,
оставляют не лес, а самих себя —
как молчания тишину.

[Игра в снежки]

Слоится воздух, каменея
в подземный радиоэфир,
где вырезают батискафы
синиц из черно-белых дыр

[причину щуриться в просветы]
тебе родные мертвецы
и говорят, что смерти нету,
и отчего-то веришь им.

Неотвратимой скудной речью
ты крутишь на ладони щель —
невроз из немоты и снега,
молчаний дрель.

«На столе бутылка птицы…»

На столе бутылка птицы
щиплет тень свою и цы
остаётся на древесной
азбуке, а пти в следы
переходит по помосту
света, обретая тень,
хворост мглы и занебесный
голос. Остальное – день.

День восьмой, где – удлиняясь —
пти всё ждёт обратно цы,
собирает клювом кости
для последней простоты,
в грудь заматывает гвозди,
проволоку, ток, штифты,
и птенцов, которых после
выпустит из темноты.

Вьёт гнездо из дня восьмого,
телеграфа и воды,
из субтитров заоконных,
что шифруют здесь в сады
все щелчки её по вмёрзшей
в гладкий шар полёта мзды

и в живот её стучатся
ледоколы и плоды.

Человечек ходит в доме,
замирая над столом,
слышит будущую птицу
а не видит никого,
шрифт незримый собирает
и созревшего зерна
пти и цы рукой сметает
в свет поспевший, и слышна

прялка из неё, как будто
распускает лабиринт
свет, спускающийся в утро
чтобы птицу снова сшить:
и теней на нём порезы,
и пробиты, как права,
два запястья, словно гнёзда
или двери из креста.

«Как молния впадает в воздух…»

Как молния впадает в воздух
и прожигает ересь жабр
в неслыханную тьму и – прорезь
как путь или отход – зажав,
уносится к себе обратным
пареньем стрелок часовых
из магнетизма тротуара
или трагедии живых,
оживших, сих сынов Эллады
что словно вороны горят
на негативе фотоплёнок,
которые из них торчат.
Аид разрушен и встревожен,
и вывернут как винт. Теперь
молчи за молнией без звука,
где обнаружил свою щель.
Забейся там, и будь калиткой
меж электричеством и тьмой
и слушай белый шум пластинки,
что проплывает над тобой.
Ты будешь сам себе помехой,
и треском рухнувшей листвы,
иглой, вшивающей прорехи,
как жабры в человека и —

как молния впадает в небо
и зажигает там звезду,
ты понесёшь в себе вот эту
расслышанную высоту.

«Начнём с того, что глаза нет …»

Начнём с того, что глаза нет —
а всё, что есть, то Глаз,
один лишь Глаз, что в темноте
очёркивает нас,

что не предел весом, а свод
пылающий за ним,
то тенью, то самим отцом
сбирающим огни,

как на ладонь, чтоб накормить
или усталость дать,
и вовремя остановить,
и заново собрать

всё зренье наше, как один
невидимый пейзаж,
который в темноте своей
разыскивает нас.

«Где дирижёр идёт по тьме…»

Где дирижёр идёт по тьме,
её достраивая грозди,
как музыки хулу и гнев —
так поводырь в дорогу гвозди

вбивает мягким каблуком,
и пёс поношенную осень
разматывает между лап,
как мраморный клубок колосьев.

Что Боратынский здесь поёт?
и не попав в мотив ни разу,
перчаткой ищет оборот
в ключах, похожих на заразу,

любая родина – любовь —
как псы она неистребима
и также гадит, как кровит,
где оспяная нота – лимба

воспоминание. По тьме
иди, срывая в голос кости,
хрустящие, как первый снег,
что запечён в пурги колёса.

И Дант, замёрзнув в стаю нот,
жуёт снежок чужбины или
выходит на подземный лёд,
себя пройдя до половины.

«Тепла погода.
Не в последний раз…»

Тепла погода. Не в последний раз
надеюсь, пролетая над фанерой,
которая в Париже протекла,
подобно русской речи, и над Сеной
лежит просторной белою водой,
качая воробьиной головой,

обратно ангелов закачивая в небо,
влекомая, как снег в водоворот,
как призрак в прошлое, летит на чёрно-белом
экране онемевшего кино
и выцветает в плёнке этой сферы,
переходя в прекрасный перегной.

Фанера, береги, как зверь, меня
касаясь дыма жадными устами,
испившими и неба, и огня —
в зеркальном августе они стоят меж нами
и хлопают пространством и детьми,
меняясь речью, словно лошадьми

с горящими под сеном головами.

«Пропажа, что с тобой случилась…»

Пропажа, что с тобой случилась,
идёт теперь тебя искать
свистит на пару с пастухами
идёт по миру, как твой брат.

А снег хрустит над головами
потери вашей с ним, двойной,
и исчезает в снеге речи,
синея, сбой.

И светится внутри пропажи
фонарик, как и у меня —
и ходим мы в прозрачном лесе,
в потерь огнях.

«Он, смотрящий в тебя, раздувая вокруг…»

Он, смотрящий в тебя, раздувая вокруг
шар листвы до окружности долгого сада,
продевает себя через взгляда иглу —
потому что руины вокруг, а не ада

длинный эпос, порушенный птичьей ордой
и десантом воды в закольцованной жажде —
отчего ты и вырван, как водоворот,
чтобы сшить грунт и небо, как древо, однажды.

И стоишь, а не видишь, как нити твои
перервут лабиринта прозрачную глотку,
и пойдут, как глотки, по воде пузыри —
из реки настрогав для горения лодку.

Эта лодка плывёт, словно лошадь, узду
признавая за чуда свершённую мзду,
прорастая сквозь зренье и засуху в почву —
припадая, как факел к любому мосту,
потому что вернее всего, что неточно,
а не то, что собой я, как темень, несу,

где качнётся река – и над нею смотрящий

проведёт, как ладонью, по ряби меня,
отразившись в версте, между нас восходящей —
сквозь стада переправ в неисправных огнях.

«Прозрачная звезда спит на булавке смысла…»

Прозрачная звезда спит на булавке смысла,
и дух психиатрии – её минута, вешка:
как перочинный нож спешит разделать щепку —
ты, бабочка летишь разделаться со спешкой.

Внутри тебя достроен Тесей из лабиринта
из камня и урана, как Китеж и ордынцы —
гори, гори звезда, придумывая числа
и числа всё сочтут, а после пепел вычтут

из суммы, что в тебе летит галдящим роем
собак или детей, что кормят тех собак,
и кажется, что нож был по тебе так скроен,
что больше никогда не хочется назад.

«Возвышенность рыбы, взошедшей на землю, глаголет…»

Возвышенность рыбы, взошедшей на землю, глаголет:
люблю я твоё, человече, зиянье ладоней —
кто тронет тебя – тот болит и сосчитан увечьем,
кто знает тебя – тот уже никогда не утонет,

где кольца пойдут годовые, на жабры воды нарастая,
отметин царапая мох, на котором и свет выгорает,
кипит, как январский снежок, что прикинулся краем
ожога, что спит в рыбаке, как улов выбирая

следы или камни, ослиц, диалекты, пустоты,
сухой намозоленный выдох совершившейся глыбы,
отверстое небо, что рядом стоит в подаянье —
где слеп снегопад и подобен крутящейся яме,

ведущей наверх, словно – язвы слоящейся – полость
внезапно мерцает из мглы и смерзается в посох.

«То девять звёзд внутри собора…»

То девять звёзд внутри собора
своей жестянкой шелестят,
то звон очертит огорода
и участь, и слепых котят,

то никакого Бога нету,
то Он разделит твердь и тварь,
и дырочку в тебе просверлит
чтоб легче было умирать.

То лампа копоть и морозы
накопит на огонь и свист,
то встанут в круг сквозной берёзы,
чтоб сок нечеловечий пить,

то лев, свернувшись, как изнанка
пустыни или кровь моя,
летит, как кров, и умывает
котят слепых внутри огня.

И я кручу, как будто белка,
как свет округлый, колесо
где девять звёзд на звук надето
и невозможно хорошо.

«Что кончилось – то лодочка, Господь…»

Что кончилось – то лодочка, Господь,
сухие воды, временный постой —

теперь пойдём по отраженьям вверх,
расслышав снизу жабий точный смех.

Всё льётся, что отсюда назови —
как бубенцы звенят из рыбы льды:

их рвётся ткань, их бережёт икра
от памяти в значении судьба.

Как баржи мы, прозрачные на свет,
идём, шатаясь, в дождевой завет:

что кончилось – то лодочка – идём
по жажде, что обёрнута водой —

качнутся берег, слово, чайка и
поспеет человек в свои круги.

«Яблоня, как дождь, стоит в саду …»

Яблоня, как дождь, стоит в саду —
словно форточка у холода во рту,
на щеколде почки и цветенья
обращаясь в мёд или росу,

в голос свой, его чужую стужу,
иней, что лежит на облаках,
как бы пёс пришедший человека
говорить и, словно смерть, лакать.

Изымая голоса, как рыбы
вынимают птицу из иглы,
яблоня воды стоит у смерти,
в форточку из мглы своей глядит.

«И каждый психом был и каждый пал…»

И каждый психом был и каждый пал
в мерцающий, как смерть его, овал
и куст дыханья пел, в себя синиц
впустив из множества,
тьму закрывавших, лиц.

И каждое из лиц поёт своё,
пускает стрекозу, как в сон, в полёт,
где бабочки прозрачный лабиринт
похож на нераскрученной тьмы бинт,
а под повязкой свет один стоит,
как перелом, где больше не болит.

Так размотай меня, освободи —
как психа псих —
меня сквозь смерть веди…
Теперь смотри – спускаемся в метро,
где от кустов дыхания светло.

«Слух – эхо от дождя, его сетей…»

Слух – эхо от дождя, его сетей
шуршание, гончарный круг, уловка
[о слишком многом речь молчания]. Горит
рыбак, собою управляясь ловко.

Со слепотой своей он говорит
наощупь. Бог ответит мимолётным:

о, Лазарь, Лазарь, выйди и иди,
как речь моя, как эхо там, где тонко
коснётся дождь идущего по дну,
которое не дно, а речи кромка.

«Колокол висит над головой…»

Колокол висит над головой
колокольчика, растущего из стужи:
слева – небо, справа – слово, а внутри —
малое, которому он нужен.

Повисит и ляжет на бок он —
словно тигр, зияющий в синице,
колокольчик песенку поёт —
колоколу дышит в рукавицы.

«…лев живёт в пустыне…»

…лев живёт в пустыне

[скажешь: сгинь
самая чудная из причин
чуда и молитвы – не спеши,
сядем рядом, в лодке посидим,
поседеем, глядя небу в рот,
как пустыня, что во льву живёт,
плачет в льва, чтоб жажду утолить]

и вода в очах у них хрустит.

«Так снег здесь переходит небо…»

Так снег здесь переходит небо,
ступеньками там становясь,
где перевёрнутые воды
растут сквозь грязь
мою, густую и родную,
что стала кожей, речью и
лицом, что левою рукою
я отмываю до крови,

до этих вод, до плеска рыбы,
что поймана на смерти страх,
до слов, которым я поверю,
смолкая в прах.
Так нас ведут поодиночке
за снегом бубенцы из мглы
и протыкают света точки
зрачки зимы,

и кровь течёт по целлофану
когда-то бывшего лица,
и снег идёт навстречу снегу,
в лицо дыша.

«Вот – родина вторая, что с начала…»

Вот – родина вторая, что с начала,
как будто вторник, на меня стучала —
на телеграфе дивное письмо
лежит и дышит в мясо сургучом:
вот родины предел. Начни сначала —

земля твоя, что изнутри всё знала:
я был агент конечно же двойной
лежал межъязыковою войной —
и русский весь язык казался узким
заштопанным, как влажный перегной.

Вот родина – прекрасна в умиранье —
лежит внутри и нефтяной волной
подожжена, как спичкой, дирижаблем —
и небом, что горит передо мной
едва-едва – как Пушкин, в поле жабры

свои оставив февралю, бежит
на Родину, что первая, корягой
из речи чёрной, словно зверь, дрожит —
где мяса письмена из мягких лёгких,
где свет, прошитый светом, в снег лежит

лицом своим – теперь невиноватым —
где всяк Харон по-русски, говорит.

«То отражение, что держишь ты…»

То отражение, что держишь ты,
пытаясь его – словно бег – упустить
в кадры, застывшего вдоль, кино —
остаётся тобой всё равно.

Скажем: ты говоришь, что оно
проговорило тебя – верно
и первое и второе, или
вся соль здесь в шиле,

в нитке, за шилом лежащей и
связующей края вашей пустоты —
твоей и того, второго —
совсем другого.

Так каждый раз повторяешь речь,
которую он так хотел сберечь
в молчанье своём – за которым грай
что изрекай

ты, как будто не одинок,
а ломоть из стаи тех сорок —
срок бы закончился прежде, чем помер

ты – и в том был номер,

что оставался бы лишь один
когда ты таял весной средь льдин,
в которых земля притворилась хлебом
и – где он не был

пока что ты отпускал синиц
лакать его все сто сорок лиц,
а он тебя охранял от смерти
как пёс от цепи.

«Сдиравший землю самолёт…»

Сдиравший землю самолёт
летит за гладкою стеною —
её касается спиною
шершавою, как стрекоза.

О, горькая земля, солёны
твои глаза,

когда, раскрывшись человеку,
синеет плоть снеговика —
округлая в своём ознобе,
как тчк.

«Воздухоплаватель заходит в кабинет…»

Воздухоплаватель заходит в кабинет.
Становится всё выше. Свет нарушен,
как карта, на которую лёг путь,
который Бог и рукава от шубы,
где дирижабли света ночь сожгут
в кострах отсутствия,
в бездонном кислороде
покажется, что карты неба ждут
из черепашьей белой круглой кожи,
как будто срезы дерева, шуршат
и вырезают земли из под кожи,
и шьют созвездия и птиц, как будто вожжи
полёта их совсем ещё не ад.

Табачный дым, облапивший – как карту —
отсутствие простора и опор,
держащих вес отсутствия, однажды
становится дорогою в простор,
окном что закрывает своей жаброй
прогноз погоды, невозможность всю
его – теперь невидимую – кожу
в полёта полушубок распахнуть.

«В чём разница, осколок, мне скажи…»

В чём разница, осколок, мне скажи
когда ты на руке моей лежишь

как будто я свит в продолжение твоё,
и крутится во тьме веретено

из перьев, звука, вещества и лиц,
чья пряжа в отражении лежит

ворует воркование у дна
которым, как бессмыслицей, полна.

…И выговаривая, как осколок, речь —
в неё, как в смерть, я успеваю лечь.

«Ибо каждый из нас здесь и жертвенник, и Авраам…»

Ибо каждый из нас здесь и жертвенник, и Авраам,
каменный свет держащий в своих губах —
словно тот – лестница, на которой Исаак
играет в салочки с бабочкой – и изгоняет мрак…

Вот все стада твои, идущие на водопой —
свет, что глядит в лицо воде, и лицо своё
не узнаёт – так морщина вдвойне лица
больше, поскольку лицом надвое разделена —

выпьешь себя и дальше в огне пойдёшь,
словно ребёнка и Бога, бабочки дрожь
неся на руках у рисунка воды, вдоль себя —
жертвенник, сын, Авраам, стая из голубят.

«Выходишь из ворот, а там – зима…»

Выходишь из ворот, а там – зима
тебя произносящая, как «ма»,
прикинется то лялькою, то люлькой,
качающейся справа от тебя —
пока геометрически смешна
её иссиня-тонкая фигурка.

Играем в шахматы, две морды, ты и я,
две лошади, что тенью в звук согнуты —
где чудится фигура из огня,
которая дымится, как искусство,
за лыжником, который от меня
оставит пар и светом ляжет густо

на чёрный воздух, трубку и трубу
из простоты, которая пока что
ещё не стала ящиком, куда
нас сложат, что – возможно – нам на счастье —
пока течёт вокруг камней вода,
похожая на лопасти и пасти

тех, что ожили в ней – пока мертва
она жила и прожигала или

не вспоминала почему сюда
её, окаменевшую, сложили,
как на щеке вдруг ожила звезда,
окаменев до крови или жилы

Всё дышит – даже если этот звук
внутри, и оттого нам не заметен,
не заметён как шахматы в свой стук,
в улитку лёгких, что теперь стозевны,
растут, как дерево сквозь зимы, как игру,
где катятся в повозке земли звери.

Они растут снежками, как следы
взрываются комками воробьиной
прозрачной крови, речи, как любви,
что рассекают небо львиной гривой,
и оставляют шрам, голосовой порез
средь темноты, что вырезана в выдох.

«Во мне по утрам живёт орфеева голова…»

Во мне по утрам живёт орфеева голова,
выходит со мной в новый Иерусалим —
засовы её крепки, хотя и скрипят,
глаза открыты и мир, как вдова, горит.

Ходики изнутри у неё стучат —
говор смутен, словно аккадский, или
выжженная на лбу у осла печать
времени, что с морем во мне забыли.

Медленно ключ творит в скважине оборот,
ощупывает в темноте лобную, затылочную или темень,
Аид, который каждый из нас – пока он плод,
голоса стебель, сжатый светом тяжёлым в семя.

Слышу, как тик, этот ключ, кодировку, ход —
так отверзаются ямой часы за стеною
и, как колодец из человека похож на код,
так и пустоты во мне равны со мною.

Их заполняет небо, парковый шелест, звезды
лицо удлинённое до ночи кромешной и слепца, что предметы

делает речью своей, движением пустоты
и, словно лёд в гортани, выжигающим светом.

И расширяется орфеева голова, словно тропа
по которой всплывут со мною
эти ошмётки неба тире песка
дерева или адского перегною,

и каменеет волна, как слепой прозрев,
и выжигает, как лев, всё нутро обузы,
и ты – словно выстрел – вдаль от себя летишь
там, где шумит, как раковина расширяясь, голова медузы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.